ВОСК И БУМАГА

Виталий Чардымов

Виталий Чардымов

Воск и Бумага

«Автор»
2026

Чардымов В.

Воск и Бумага / В. Чардымов — «Автор», 2026

Два мира стоят рядом, и в каждом всё устроено правильно. В одном никто ничего не решает, и потому решается всё; в другом есть свобода, но нет будущего. Роман-притча о власти без единого злодея, о противостоянии, у которого нет первого; об ответственности, которую делят на всех, пока она не исчезнет; и о памяти там, где принято забывать. И ещё о двоих, которые встречаются на границе своих миров и узнают, что настоящая близость начинается там, где есть слово «завтра».

© Чардымов В., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Часть первая. Весна 5
Глава 1. Ячейка 5
Глава 2. Пять ячеек 8
Глава 3. Корм 11
Глава 4. Строитель 14
Глава 5. Первая охота 17
Глава 6. Приём 19
Глава 7. Сход 23
Глава 8. Большие 27
Глава 9. Ящики 30
Конец ознакомительного фрагмента. 31

Виталий Чардымов
Воск и Бумага

Часть первая. Весна

Глава 1. Ячейка

Темнота была тёплая.

Она обступала его со всех сторон, вплотную, и приходилась ему точно по мерке. Пахла она так, как потом будет пахнуть для него всё хорошее на свете: воском, хлебом и чьим-то терпеливым дыханием. Сверху у темноты имелась крышка, тонкая, чуть прогибавшаяся, если упереться в неё лбом. Он не знал, что её положено прогрызть. Он начал грызть потому, что она оказалась перед ним, а других занятий ему пока не предложили.

Воск уступал неохотно, с тем вежливым упорством, с каким уступает всякая дверь, запертая для твоего же блага. За стенкой, слева, кто-то занимался тем же самым, только громче, веселее и, судя по звуку, бестолковее: там грызли, потом замирали, словно прислушивались к собственной работе, находили её превосходной и принимались снова. Он стал грызть в лад. Так у него завёлся товарищ, раньше, чем завёлся свет.

Света, впрочем, не оказалось и потом. Когда край крышки наконец отошёл и он выставил наружу голову, снаружи было так же темно, как внутри, только гораздо просторнее. Темнота гудела. Она была густо населена: по ней шли, её перебегали наискось, в ней сталкивались, наскоро ощупывали друг друга усиками и расходились пчёлы, тысячи пчёл, и у каждой было дело. Это был улей, и улей был занят. Никто не остановился поглядеть на новорождённого. Одна, пробегая, тронула его на ходу усиком по лбу, как трогают крышку на ячейке, цела ли, и побежала дальше, и он понял, что принят. Куда именно, ему не сообщили.

Слева с хрустом отвалилась соседняя крышка, и из ячейки вывалилось, иначе не скажешь, нечто мокрое, взъерошенное и чрезвычайно собою довольное.

— Слыхал? — сказало оно. — Это я сам!

— Слыхал, — ответил он. — Ты очень громко сам.

Мокрое существо обдумало это, не нашло ничего обидного и засмеялось. Смеялось оно всем телом, от усиков до кончиков крыльев, и было ясно, что мир, в который оно только что выбралось, ему уже нравится, целиком и заранее, включая те его части, которых оно ещё не видело.

Тут на них набежала кормилица, озабоченная, из тех, что всегда опаздывают сразу в три места.

— Двое, — сказала она, не то им, не то себе. — Так. На чём мы остановились? — Она пошевелила усиками, припоминая. — Донник был, люцерна была… Клевер. Ты Клевер. А ты, стало быть, следующий: Тёрн. Запомнили? Вот и хорошо, больше не понадобится. Уборщики, за мной!

И побежала, не оглядываясь, в полной уверенности, что за ней бегут.

Они побежали.

— А что мы будем убирать? — спросил на бегу Клевер, которому всё было интересно.

— То, откуда вышли, — бросила кормилица. — Порядок такой.

Бежать пришлось недалеко и, как вскоре выяснилось, по кругу. Кормилица, занятая в уме своими тремя местами, провела их через весь сот: мимо кладовых, откуда тянуло кислым хлебом и где кто-то невидимый, сопя, что-то утрамбовывал; мимо детской, где было жарко и

стояла та особенная тишина, какая бывает только там, где спит очень много маленьких; мимо длинного ряда запечатанных ячеек, за крышками которых скреблись, каждый в своей, такие же, как они, только ещё не знавшие об этом. И вывела точнёхонько к тем двум пустым ячейкам, из которых они только что вылезли.

— Вот, — сказала она с некоторым удивлением, словно ячейки сами забежали вперёд. — Отсюда и начнёте. Крышку убрать, что от неё осталось. Рубашку со стенок снять всю, до нитки. Дно вычистить. Приду, проверю.

Она не пришла никогда. Тёрн потом долго ещё узнавал её в темноте по торопливому шагу и всякий раз готовился отчитаться, и всякий раз она пробегала мимо, опаздывая. Куда она так и не успела, он не узнал.

Рубашка была его собственная. Она выстилала стенки тонкой, чуть липкой плёнкой, сохранившей в точности его очертания, и сдирать её было странно: выходило, что ему велели убрать за собой самого себя, прежнего, и оставить всё так, будто его тут не было. Он начал от края и пошёл по кругу, виток за витком, ничего не пропуская. Ему понравилось, что у работы есть порядок и что порядок этот можно найти самому, если не торопиться.

За стенкой работал Клевер. Клевер работал вслух.

— Ого, — доносилось оттуда. — А это что? Это тоже я? Сколько же меня было! — Возня, треск. — Слушай, а у тебя тоже не отдирается? — Пауза. — Всё. Отодралась.

Мимо ячеек шли. Никто не заглядывал, никто не спрашивал, как подвигается, и было в этом равнодушии что-то даже лестное: стало быть, в них не сомневались. Раз только кто-то большой, гружёный, протискиваясь по узкому проходу с ношей, бросил на ходу:

— Уборщик, посторонись!

Посторонились оба, и Тёрн, и высунувшийся на голос Клевер. Гружёный прошёл между ними, так и не заметив, что уборщиков двое, потому что слово было одно.

— Тёрн, — сказал Клевер, когда шаги стихли. Он сказал это не для того, чтобы позвать, а на пробу, как пробуют на зуб. — Тёрн. Колючее какое-то. А я, значит, Клевер. Клевер, это, по-моему, что-то мягкое. Как думаешь, мягкое?

— Не знаю. Я ни того ни другого не видел.

— И я не видел! — обрадовался Клевер, радовавшийся всякому совпадению. — Она сказала, больше не понадобится. А мне нравится. Я тебя так и буду звать, можно? А то что «уборщик»: и я уборщик, и ты уборщик, и вон тот, наверное, тоже. Запутаемся.

Тёрн подумал, что запутаться тут как раз невозможно и что в этом, по-видимому, весь замысел. Но сказал:

— Можно.

Свою ячейку он закончил первым. Стенки под усиком стали гладкие, дно чистое, шесть углов, он проверил каждый, и ни в одном ничего. Он посидел внутри, привыкая к мысли, что сделал что-то от начала до конца, и полез к Клеверу.

У Клевера рубашка была снята клочьями, в двух углах её не тронули вовсе, а посреди этого разорения сидел сам Клевер и сиял.

— Красота? — спросил он.

Тёрн молча влез и занялся ближним углом. Клевер нисколько не обиделся. Он пристроился рядом, стал помогать, то есть мешать, и, не успев начать, уже рассказывал, что в детской, когда они пробегали, кто-то, честное слово, ему улыбнулся, хотя Тёрн точно знал, что улыбаться там было некому и нечем.

Они возились вдвоём в одной ячейке, толкаясь локтями, когда это случилось.

Сначала переменился гул. Он не стих, а как-то выровнялся, точно тысячи ног, до того шедших вразнобой, на несколько шагов попали в ногу. Потом по соту, откуда-то из глубины, прошло что-то вроде медленного вздоха. Запах, всё время стоявший ровно, поднялся, как поднимается вода, дошёл до них, подержал и отпустил. Те, что бежали, пошли шагом. Двое, сце-

пившиеся из-за чего-то у кладовой, расцепились и, кажется, тут же забыли, из-за чего. Клевер перестал возиться, поднял голову, и всё его не просохшее ещё лицо разгладилось.

— Хорошо-то как, — сказал он тихо.

— Что хорошо?

— Не знаю. Всё. — Он подумал. — Что мы тут. Что все тут.

Мимо, уже обыкновенным шагом, шла строительница, вся в белых крошках свежего воска.

— Королева прошла, — сказала она, ни к кому не обращаясь, с тем покойным удовлетворением, с каким говорят о погоде, которая наконец установилась.

Тёрн высунулся из ячейки.

— Где?

— Везде, — сказала строительница, подумав. — Она когда проходит, то проходит сразу везде.

— А вы её видели?

Строительница остановилась и повернула к нему голову. Она смотрела без раздражения, скорее с любопытством, будто он спросил, мокрая ли вода.

— Кто ж её видит, уборщик, — сказала она беззлобно. — Её не видят. Её чувствуют.

Тёрн потянул воздух усиками. Запах был прежний: ровный, сладковатый, ничей. Он подождал, не разгладится ли что-нибудь и у него внутри, как у Клевера. Было тепло. Было, пожалуй, уютно. Он решил, что это оно и есть, а радоваться как следует он, должно быть, просто ещё не научился. И вернулся в свой угол.

Когда с Клеверовой ячейкой было покончено, он пошёл взглянуть напоследок на собственную. Не потому, что сомневался. Для порядка.

В ячейке, которую он только что вычистил до последнего угла, стояло яйцо.

Оно было маленькое, белое, чуть изогнутое и держалось прямо, приклеенное одним концом к самому дну, к тому месту, над которым он трудился дольше всего. Минуту назад его здесь не было. Теперь оно было, и стояло так спокойно, с таким правом, точно ячейку готовили именно для него, а Тёрн состоял при этом чем-то вроде метлы.

Он понял, где именно прошла Королева. В трёх шагах у него за спиной, пока он выскребал чужой угол.

— О! — сказал Клевер, заглядывая ему через плечо. — Уже! Смотри, какое ладное.

— Я её только что вычистил, — сказал Тёрн.

— Ну да. Хорошо вычистил, вот и положили.

— Я не о том. — Он поискал слова. Это было трудно: слов у него было ещё немного, а таких, какие требовались, не было вовсе. — Зачем я её чистил, если в неё тут же положат другого? Я из неё вышел. Я за собой убрал. Выходит, я убирал не за собой, а для него. А он вырастет, вылезет, уберёт за собой, и опять не за собой, а для следующего. И тот. Зачем?

Клевер смотрел на него с изумлением, в котором не было ни тени сомнения.

— Так затем и чистить, — сказал Клевер. — Чтобы положили!

Возразить на это было нечего. Тёрн и не возразил. Он только подумал, что ответ безупречен, а вопрос при этом остался ровно там, где был.

Глава 2. Пять ячеек

Первое, что достаётся ей от мира, это свет, и достаётся он ей сразу весь, без предупреждения и без меры. Он стоит в круглом проёме высоко над головой, серый с одного края и жёлтый с другого, и в нём медленно, с достоинством, поворачиваются пылинки. Она смотрит на них так, как смотрят на первое в жизни зрелище. В дупле сыро, пахнет прелым деревом и грибом; ей холодно, крылья ещё не расправлены, и всё это вместе очень похоже на несчастье, только сравнить ей пока не с чем.

Она оса, хотя сказать ей об этом некому. Гнездо, в котором она появляется на свет, состоит из пяти бумажных ячеек на одной ножке, подвешенных в глубине старого дупла, под выступом трухлявой древесины, и больше в нём нет ничего: ни стен, ни запасов, ни души. Оно серое, как всё в этом дупле, и от проёма его не видно: выступ закрывает его сверху, и тот, кто заглядывает снаружи, видит темноту, труху и больше ничего. Четыре ячейки заняты, и от них идёт слабое живое тепло, единственное в этом доме. Пятая, с рваным краем, её собственная. Дом так мал и держится так ненадёжно, что покачивается, когда снаружи проходит ветер.

Мать возвращается с охоты. Это крупная оса в таких же, как у новорождённой, чёрных и жёлтых полосах, с обтрёпанными крыльями и старой вмятиной на боку, и по тому, как она, не глядя по сторонам, обходит ячейки и делит принесённое на четыре доли, видно, что делить ей привычно и что всякий раз ей не хватает. У пятой ячейки она останавливается, находит её пустой и только тогда замечает ту, что стоит рядом.

— Ну, здравствуй, — говорит мать. Голос у неё хриплый от ветра, и усталости в нём столько, что для удивления почти не остаётся места. — Ростом ты невелика, да весной у нас крупных и не бывает: кто выходит в холода, тот выходит маленьким и проворным, а мне сейчас нужна именно такая. Обсыхай, не торопись. Работа здесь терпеливая, она никуда не уходит.

Она оглядывает новорождённую внимательно, как оглядывают не подарок, а подмогу, и, кажется, остаётся довольна.

— Всю эту весну у меня в собеседниках одни ячейки, — прибавляет она. — Слушают они прекрасно, но возразить не умеют, а без возражений разговор не тот. Две осы — это уже гнездо. Считай, что ты меня с этим поздравляешь.

И улетает, потому что четверо голодных не ждут, пока двое беседуют.

Одна, без матери, новорождённая делает открытие, слишком большое для такой маленькой: тот, кто уходит, может и не вернуться. Летать она ещё не умеет и потому понимает дело по-своему. Ей кажется, что мать не улетает, а что её забирает свет, как забирает он пылинки, и что отдавать он никому ничего не обязан. В четырёх ячейках между тем просят есть, тонко и настойчиво, и дать им нечего. Она стоит над ними, не сводя глаз с проёма, и ждёт, ещё не зная, что оттуда возвращаются.

Свет возвращает мать, и возвращает с добычей.

С этой добычи и начинается первый урок, самый трудный из всех, какие есть у ос, и потому его не откладывают. Мать отделяет кусок и протягивает его младшей, и голод, с которым та появляется на свет и которому ещё не знает имени, узнаёт эту еду мгновенно, раньше, чем успевает подумать голова, и требует её целиком и сейчас же.

— Погоди, не ешь, — говорит мать спокойно и без строгости: порядок этот старше их обеих, и сердиться тут не на что. — Знаю, что хочется. Только это не нам с тобой, это им. Они пока умеют одно, просить, и кроме нас двоих просить им некого. Мы с тобой носим, они едят, и нам за это причитается другое, сладкое, которое стоит и голода, и дороги.

И младшая, у которой во всём мире нет пока ничего, кроме этого куска, наклоняется над ближней ячейкой и отдаёт его тому, кто просит. Выясняется, что это возможно. Голод от этого

никуда не уходит, но в нём что-то меняется: он перестаёт быть обидой и становится работой, и с этим различием, найденным в первый же день, уже можно жить.

Бумагу в этом доме делают из старого дерева и собственного терпения. Мать показывает один раз: серый комок, прижатый к кромке, превращается у неё в тонкую ровную полосу, полоса на глазах светлеет, подсыхая, и стенка делается выше ровно на одну полосу.

— Ещё три таких, и это шестая ячейка, — говорит она, не отрываясь от работы. — Когда строишь, ни о чём не думаешь, кроме кромки, и, по-моему, ничто на свете не приводит мысли в такой порядок. Очень советую. А дерево бери серое, мёртвое, одного цвета с дуплом: хорошее гнездо то, мимо которого проходят.

Второй комок достаётся младшей. У неё полоса выходит толстой с одного конца, рваной с другого и бугристой по всей длине, и она смотрит на свою работу с тем отчаянием, на какое способны только новички и только в первый день.

— Кривая, — соглашается мать, рассматривая. — Погляди в самое основание: там такая же, и на ней висит весь дом. А дерево хорошее: это ива, от ручья. Горчит и пахнет водой, зато мягкая, с неё и начинают.

Слово сказано о дереве. Но в гнезде, где живых всего двое, слову некуда деться: оно остаётся на той, кто стоит ближе, и становится именем. Ива пробует его про себя. Оно горчит и пахнет водой, как ему и положено, и оно ей нравится.

К вечеру свет в проёме желтеет, потом рыжеет, потом из него уходит всякий цвет, и тогда из углов дупла выходит холод, который весь день сидит там и ждёт. Весенняя ночь в лесу слишком велика для дома из пяти бумажных ячеек. Холод поднимается снизу, от трухи на дне, и Ива замечает, что ноги слушаются её всё хуже и что мысли делаются такими же медленными, как ноги. Это страшно, потому что поделать с этим она ничего не может: холод забирает её понемногу, начиная с краёв.

— Ива, — зовёт мать из темноты. — Иди сюда, под бок, и поскорее: холод у нас проворный.

Сама она спать не ложится. Она устраивается над сотом так, чтобы накрыть собой все пять ячеек и шестую, недостроенную, и начинает дрожать, мелко, ровно, и конца этой дрожи не видно.

— Не пугайся, это не от холода, — говорит мать. — Это я грею. Дрожишь нарочно, изо всех сил, будто летишь, только не трогаясь с места, и делается тепло, и тебе, и тем, кто под тобой. Дети у нас, видишь ли, растут только в тепле, а другого тепла, кроме меня, в этом доме нет. Попробуй сама, это нетрудно. Трудно не перестать.

Ива прижимается к её боку. Бок горячий. Она пробует сама. Получается слабо и ненадолго, она быстро устаёт и пробует снова, и в одну из попыток с изумлением обнаруживает в себе собственное тепло, первое в жизни, сделанное ею самой, а не полученное от кого-то.

— Ну вот, — говорит мать негромко, и слышно, что она довольна. — Теперь нас греют двое. Ты не представляешь, какая это роскошь.

И, не прерывая работы, чуть сдвигается, уступая ей больше места.

Так проходит ночь: двое греют четверых. Снаружи, за корой, шумит и скрипит ветвями большой тёмный лес, которому нет до них никакого дела, а посреди этого холода держится маленькое круглое тепло, и Ива лежит в самой его середине, и голод, не отпускающий её с рождения, впервые молчит. Эта ночь остаётся в ней вся, с холодом, с горячим материнским боком, со скрипом веток за корой. Осы отпускают ночь вместе с темнотой, легко и без остатка. Ива свою не отпускает.

Утром в проёме опять проступает серое. Мать расправляет затёкшее тело, приводит себя в порядок с тщательностью, которая не изменяет ей даже после бессонной ночи, и осматривает хозяйство: ячейки, стенку, обе полосы, ровную и кривую, причём на кривой её взгляд задерживается не дольше, чем на ровной.

— Присмотри тут за ними, — говорит она. — Дом на тебе.

И свет снова забирает её, но теперь это уже не так страшно: теперь известно, что он возвращает.

Ива поднимается следом, по стене дупла, до самого края, и выглядывает наружу. Снаружи всего слишком много. Там нет стен; там зелёное, которое движется всё сразу, шумит и блестит, и от этого кружится голова и хочется назад, в тесноту. А через всё это, уменьшаясь, летит мать: сперва это ещё мать, потом тёмная точка, потом и точки нет.

Вот, значит, как это делается. У Ивы на спине что-то отзывается само, без спроса, и, оглядываясь, она видит, что крылья у неё сухие. Они уже не лежат вдоль спины мокрыми лоскутами, а стоят над ней, лёгкие и прозрачные, и ветер из проёма трогает их, и они отвечают ему тонким сухим звоном.

Глава 3. Корм

Уборщиками они пробыли недолго.

Никто их не повышал, не вызывал и ничего им не объявлял. Просто однажды утром Тёрн обнаружил, что пустые чужие ячейки его больше не занимают, а самого его тянет совсем в другую сторону. Он решил, что заболел. Оказалось, что вырос. В улье должность не получали, должность росла внутри, как растёт зуб, и когда вырастала, ноги сами несли тебя туда, где она требовалась.

Ноги принесли его в детскую. У входа он столкнулся с Клевером, которого принесло туда же и который был этим обстоятельством совершенно счастлив.

— И у тебя? — закричал Клевер шёпотом, потому что в детской не кричали. — И у меня! С утра! Я думал, я испортился!

В детской было жарко и тихо. Соты здесь стояли открытые, без крышек, и в каждой ячейке, на дне, свернувшись белой запятой, лежал кто-то маленький и ничего не делал, только ел, спал и рос. Их были тысячи, и от них шло ровное тепло. Между рядами, не останавливаясь, двигались кормилицы: наклон, заглянуть, покормить, дальше; наклон, заглянуть, покормить, дальше. Они двигались без окрика и без спешки, и было ясно, что двигаются они так давно и что, если их не остановить, не остановятся никогда.

Старшая по детской, сухая, строгая, объяснила порядок один раз и повторять не собиралась.

— Рядам простой хлеб. Всем. Размять с мёдом, развести, не густо. Заглядывать в каждую. Голодных не оставлять, сытых не перекармливать. Молочко рядам не давать: молочко несёшь мимо, к кромке. Перепутаешь, и в ряду вырастет не рабочая. Ясно?

— А что у кромки? — Клевер показал усиком в дальний конец сота.

Там, у самой кромки, где соты кончались и начиналась пустота, висели ячейки, не похожие на остальные. Их было немного, с десяток. Они были вдвое больше обычных и смотрели не вбок, как всё в улье, а вниз, и стенки у них были толстые, бугристые, вылепленные щедро, без счёта. Возле них толклось втрое больше кормилиц, чем где-либо, и кормилицы эти не бежали дальше, а задерживались, заглядывали, возвращались.

— Это особые, — сказала старшая, и голос у неё из казённого сделался торжественным. — Этим молочко. Одно молочко, с первого дня до последнего. Сколько влезет и ещё сверху. Чтоб плавали.

— Почему?

— Потому что из них выходят королевы.

— А почему из них выходят королевы?

— Потому что их так кормят.

Тёрн подождал, не добавит ли она чего-нибудь. Она не добавила. Она считала, что ответила, и, надо признать, ответила дважды.

— А яйцо, — спросил он. — Яйцо там другое?

— Яйцо как яйцо.

— Такое же, как в простых?

— Уборщик, — сказала старшая и тут же поправилась, потому что порядок был ей дороже раздражения: — Кормилица. Ты детей кормить пришёл или меня расспрашивать? Клянусь короной, из таких любопытных толку не выходит. Ряд от третьей балки до кромки твой. Пошёл.

Работа была лёгкая, и в этом была её главная трудность. Наклон, заглянуть, покормить, дальше. В каждой ячейке его ждали с таким безоговорочным доверием, что не покормить было невозможно. Кормить было приятно, как приятно всякое дело, для которого ты, по-видимому,

и устроен. К середине ряда он перестал думать. К концу ряда он обнаружил, что не думал, и это ему не понравилось.

Клевер в соседнем ряду разговаривал.

— Ну-ну-ну, — доносилось оттуда. — Кто у нас голодный? Ты у нас голодный. А ты? И ты голодный. Все голодные. Тёрн! Они тёплые! Ты потрогай, какие они тёплые!

— Я трогаю.

— Нет, ты не так трогаешь. Ты трогаешь, как будто проверяешь. А ты просто потрогай.

О Королеве в детской говорили много и охотно, как говорят о том, чего не видели. Говорили, что она вдвое длиннее любого из них. Что ходит она медленно и что перед ней расступаются сами, не глядя, как расступается толпа перед тем, у кого есть право. Что при ней всегда свита, которая кормит её, чистит и не даёт ей коснуться ногой грязного. И что на спине у неё корона.

— Какая? — спросил Клевер.

— Яркая, — сказала молодая кормилица из соседнего ряда, сама вчерашняя уборщица. — Такая яркая, что её и в темноте видно.

— А ты видела? — спросил Тёрн.

— Мне говорила та, которой говорила та, которая видела.

Этого Клеверу хватило с избытком. Тёрну этого не хватило, но он заметил, что короной здесь клянутся решительно все и решительно по любому поводу: клянусь короной, он опять перепутал ряд; клянусь короной, хлеб сегодня кислый. Вещь, которой никто не видел, держала на себе всю здешнюю речь, как держит на себе сот невидимая в темноте балка.

На другой день, с утра, он дошёл до ячейки, в которой накануне лежало яйцо. Теперь на дне, слишком для неё просторном, лежала запятая, такая крошечная, что он не сразу её разглядел. Её ещё ни разу не кормили.

Он положил ей хлеб, размятый с мёдом, разведённый, не густо, как было велено. Это был первый корм в её жизни.

Запятая взяла. Она не знала, что бывает другое, и у неё не было способа об этом спросить. Она взяла и стала ждать следующей порции.

Вот и всё, подумал Тёрн. Он стоял над ячейкой и пытался понять, что именно он сейчас сделал. Минуту назад перед ним лежало нечто, из чего могло выйти что угодно. Теперь перед ним лежала будущая уборщица, потом кормилица, потом кто там бывает дальше: такая же, как он. А в десяти шагах отсюда, у кромки, куда он нёс мимо неё своё молочко, такую же точно запятую, из такого же точно яйца, в это самое время заливали по самые края, и из неё выйдет та, перед которой расступаются.

Значит, решает корм.

Он пошёл дальше по ряду, наклон, заглянуть, покормить, и на четвёртой ячейке остановился, потому что мысль оказалась неверной, и неверной как-то обидно, у самого основания.

Корм ничего не решает. Корм лежит, где положили. Решает тот, кто кладёт.

А кладёт он.

Он вернулся к той ячейке и посмотрел на запятую ещё раз, уже как на собственную работу. Это он, Тёрн, только что сделал из неё рабочую. Не Королева, которой он не видел. Не старшая по детской, которая как раз распекала кого-то в дальнем углу. Он.

Но он ведь ничего не решал. Ему сказали.

Он дождался, пока старшая освободится, и подошёл.

— Я про особых, — сказал он. — Кто решает, которым быть особыми?

— Никто не решает. Ячейка большая, значит, особая.

— А кто строит большую?

— Строители.

— А им кто велит?

— Никто им не велит. Приходит время, и строят. Так заведено.

— Кем?

Старшая посмотрела на него долгим взглядом. В этом взгляде не было ни злости, ни страха, ни тайны, которую от него скрывали. В нём было только усталое недоумение кормилицы, у которой две тысячи ртов и один сотрудник, задающий вопросы.

— Ряд, — сказала она. — От третьей балки до кромки.

Он не понёс молочко к кромке. Он выбрал в своём ряду ячейку, самую обыкновенную, огляделся, хотя оглядываться было незачем, потому что никто ни на кого не смотрел, наклонился и отдал молочко ей. Всё, что было. Сердце у него колотилось так, будто он украл. У кого именно, он сказать бы не смог: у кромки и без него толклось втрое больше кормилиц, чем где-либо.

Ничего не произошло. Сот не дрогнул. Та взяла, как брала всегда, и стала ждать ещё.

Он отошёл на три ячейки и стал ждать. Ждать пришлось недолго. По ряду, своим ходом, шла другая кормилица, сосредоточенная. Наклон, заглянуть. Она заглянула в его ячейку, увидела то же, что видела во всех прочих, и положила хлеб. За ней шла следующая. Наклон, заглянуть, хлеб. За той третья.

Он пошёл дальше по своему ряду, но считать не перестал. До вечера к одной этой ячейке подошли столько раз, что он сбился. Сотни. И каждая из подходивших делала то, что положено, не зная о предыдущей и не думая о следующей, и его порция молочка лежала где-то на самом дне этого потока, как лежит на дне реки одна песчинка другого цвета.

Чтобы переменить одну эту судьбу, надо было класть молочко каждый раз. Каждой кормилице. Сотни раз в день, много дней подряд. Надо было, чтобы все они, разом, захотели одного и того же, а они ничего не хотели: они кормили.

Он впервые понял тогда, с чем имеет дело, хотя слов для этого у него не нашлось ещё долго. Он искал того, кто решил, чтобы с ним не согласиться. А никого не было. Было «положили». Было «велено». Было «так заведено». Глаголы шли по улью сами, без подлежащего, и дело делалось тысячью мелких послушаний, ни одно из которых не было ничьим решением, и его собственное, утреннее, лежало среди них, ничем не хуже прочих.

— Ты чего стоишь? — спросил Клевер, возникая рядом. Он был перемазан молочком по самые усики и сиял. — Устал? Хочешь, я твой ряд дойду? Мне не трудно. Мне, знаешь, совсем не трудно, мне бы ещё рядов пять.

— Клевер, — сказал Тёрн. — Одним всё, а другим хлеб. И кладём это мы с тобой. А нас кто-нибудь спрашивал?

Клевер честно подумал. Он всегда честно думал, когда Тёрн его о чём-нибудь спрашивал, это было одно из лучших его свойств.

— Так ведь всем хватает, — сказал он наконец. — Особым хорошо, и этим хорошо. Погляди, какие довольные. — Он заглянул в ближайшую ячейку и расплылся. — Ну-ну-ну. Кто у нас голодный?

Тёрн вернулся к той, которой утром положил первый хлеб. Она спала, сытая, свернувшись на дне белой запятой, и росла во сне, ровно настолько, насколько ей теперь было положено.

Глава 4. Строитель

Молочко кончилось без предупреждения.

Однажды утром Тёрн дошёл до кромки, наклонился над большой ячейкой, и отдать было нечего. Там этого не заметили: у кромки и без него толклось втрое больше кормилиц, чем где-либо, и не успел он отойти, как подошла другая и дала, а за ней ещё две. Поток закрылся над тем местом, где он стоял, и через два ряда уже никто не помнил, что он здесь работал.

Зато появилось кое-что новое: тонкие белые чешуйки, которые выходили из него сами, без всякого его участия. Он размял одну. Чешуйка стала тёплой, послушной и запахла тем, чем пахла для него когда-то крышка над головой.

Это был воск. Он, Тёрн, делал воск. Из себя.

Тело в очередной раз распорядилось им, не спросив, и в очередной раз оказалось, что распорядилось неплохо.

Строили в дальнем конце улья, где соты обрывались и начиналась тёплая гулкая пустота. Там, под самым потолком, висело то, что он сперва принял за занавес. Потом занавес пошевелился, и Тёрн увидел, что он живой.

Строители висели цепями. Верхние держались за потолок, следующие за ноги верхних, за тех цеплялись третьи, и так до самого низа, десятки цепей рядом, сотни тел, сцепленных ногами в одно медленно дышащее полотнище. Они не работали, они висели и грелись друг о друга, потому что воск идёт только в тепле, и чем теснее, тем лучше идёт.

— Строитель? — окликнули его сверху. — Чего стоишь? Цепляйся.

Он полез. Ему подставили ноги, он ухватился, кто-то тут же ухватился за него, и он повис. Слева к нему приросло чьё-то плечо, справа чей-то бок, над головой ровно дышал кто-то чужой, снизу его тянуло вниз чужой тяжестью, и всё это было тёплое, и всё это чуть покачивалось, в лад, как покачивается одно большое существо, которому спокойно.

Думать здесь было нельзя. Не потому, что запрещено, а потому, что нечем: мысль требует, чтобы ты был отдельно, а отдельно тут не получалось. Он попробовал вспомнить, о чём спрашивал старшую по детской, и вопрос, ещё вчера саднивший, как заноза, показался далёким и не очень важным. Было тепло. Было тесно. Чешуйки шли сами, одна за другой. Он висел, и ему было хорошо, и впервые в жизни ему не было за это неловко.

— Тёрн! — сказали у самого уха. — Тёрн, это ты? Это я!

Разумеется, это был Клевер. Клевер висел в соседней цепи, вверх ногами относительно здравого смысла, и умудрялся при этом сиять.

— У меня сегодня больше, чем вчера, — сообщил он шёпотом. — А у тебя? Я, наверное, способный.

— Висите молча, — сказали сверху беззлобно. — Остынет.

Они замолчали. Клевера хватило ненадолго.

— Хорошо, да? — прошептал он. — Я бы так всегда висел.

Тёрн хотел сказать, что всегда висеть нельзя, что кто-то должен и строить, но обнаружил, что согласен, и промолчал.

Строили так. Когда воск поспевал, строитель отцеплялся, лез наверх, к кромке недостроенного сота, и прилеплял свой комочек туда, где, как ему казалось, недоставало. Потом уходил, и на его место лез следующий, который не знал, что задумал первый, и видел только то, что им оставлено. Никто ничего не чертил и не командовал.

И при этом выходили шестигранники.

Ровные, одинаковые, стенка к стенке, угол в угол. Тёрн облазил новый сот вдоль и поперёк и не нашёл места, где бы не сошлось: тысяча строителей, ни один из которых не видел целого, лепила вслепую, по комочку, и стенки встречались посередине с точностью до толщины усика.

Он прилепил свою первую чешуйку, отошёл и долго на неё смотрел. Она уже не была его. Она была частью стенки, стенка была частью ячейки, в ячейку положат хлеб, или мёд, или яйцо, и тот, кто выйдет из яйца, вырастет в стенах, которые он, Тёрн, сделал из самого себя.

Дом, подумал он, сделан из нас.

Это была хорошая мысль, и он нёс её бережно, возвращаясь за следующей порцией, когда дорогу ему загородили.

Загородили основательно. Поперёк прохода, заняв его весь, от сота до сота, лежало нечто большое, плотное, мохнатое, с огромными, во всю голову, глазами и с таким видом, будто проход был устроен именно для этого.

— Строитель, — сказало оно густым приятным голосом. — Голубчик. Ты ведь с кладовой идёшь? Нет? Жаль. А всё-таки покорми меня. Я, видишь ли, с утра не евши.

Тёрн оглядел его. Лежавший был крупнее любой рабочей пчелы раза в полтора. Жала у него не было. Ноши при нём не было. Воска он, судя по всему, не делал и делать не собирался.

— Мёд в трёх шагах, — сказал Тёрн. — Вон открытая ячейка.

— Вижу, — согласился тот. — Превосходно вижу, у меня, как ты мог заметить, глаза. Но, понимаешь ли, в чём штука: есть я умею, и недурно, а вот взять не обучен. Не приспособлен. Мёд в ячейке, я снаружи, и между нами непременно должен быть кто-нибудь, кто подаст. Так уж я устроен. Не я это придумал.

— Я покормлю! — сказал Клевер, выныривая из-за Тёрнова плеча. — Сейчас! Я мигом!

И действительно, сбегал и покормил, с той же радостной готовностью, с какой кормил в детской. Большой принял угощение с достоинством, без жадности, поблагодарил, назвал Клевера душой, облизнулся и устроился поудобнее.

— А ты что делаешь? — спросил Тёрн.

— Я?

— Ты. Он кормил, я строю. А ты что делаешь?

Большой посмотрел на него с живым интересом. Было видно, что вопрос ему задают не в первый раз, но впервые задают всерьёз.

— Я существую, — сказал он. — Это, между прочим, тоже занятие, и не всякому оно по плечу. Попробуй-ка с утра до вечера ничего не делать и при этом не впасть в тоску. Вы вот все бегаете, и вам некогда задуматься, зачем. А мне есть когда. Я думаю за весь улей, только об этом никто не знает, потому что никто не спрашивает. Шалфей, — прибавил он, приподнимаясь. — Трутень. К вашим услугам, хотя услуг, как ты понимаешь, никаких.

— Нашёл с кем разговаривать, — бросила, протискиваясь мимо с ношей, строительница. — С трутнем.

Она сказала это слово так, как говорят о сквозняке.

— Вот, — заметил Шалфей, нисколько не задетый. — Слышал? Это нас так любят. Кормят, заметь, исправно, а любят вот так.

Тогда Тёрн сказал ему всё.

Он не собирался. Оно копилось с детской, с тех больших ячеек у кромки, с ответа «так заведено», и вот нашло, куда вылиться. Он сказал, что не понимает, почему один строит дом из самого себя, а другой в этом доме лежит поперёк прохода. Что мёд в ячейках кто-то принёс издалека, на себе, а ест его тот, кто даже из ячейки достать его не может. Что в детской одним заливают молочко по края, а другим с первого дня кладут хлеб, и яйцо при этом одно и то же. Что никто этого не решал, и спросить не с кого, и все довольны. Что так не должно быть. Что все вышли из одинаковых ячеек и все должны быть равны, и не уборщик уборщику, не строитель кормилице, а как-то иначе, чтобы каждый каждому был…

Тут он остановился, потому что слова не было.

Он поискал его. Он перебрал всё, что у него имелось: уборщик, кормилица, строитель, приёмщик, страж, сборщица. Это были все слова, какими в улье один мог назвать другого, и все они были про то, что ты делаешь, и ни одного про то, кто ты тому, кто рядом.

— Кем? — спросил Клевер, слушавший с открытым ртом.

— Братом, — подсказал Шалфей.

Он сказал это просто, без насмешки, как подают оброненную вещь.

— У нас это так называется. Мы друг другу братья. Нам, видишь ли, больше некем друг другу быть: дела у нас нет, должности нет, звать нас не по чему. Только по родству и остаётся. Так что братство — это наше слово. Трутнёвое. — Он зевнул. — Хорошее слово. Бери, брат, нам не жалко. Только при старших не говори. Засмеют.

Тёрн стоял перед ним с комочком воска, про который забыл, и чувствовал себя так, как чувствует себя тот, кто долго и гневно обличал вора, а вор выслушал, кивнул и протянул ему то самое, что он искал.

— Я не это имел в виду, — сказал он.

— Разумеется, — легко согласился Шалфей. — Ты имел в виду что-то гораздо более возвышенное. Когда найдёшь для этого другое слово, приходи, расскажешь. Я тут. Я, как ты понимаешь, всегда тут.

И закрыл свои огромные глаза, давая понять, что приём окончен.

Они пошли дальше. Клевер молчал целых десять шагов, чего с ним ещё не случалось.

— А он ничего, — сказал он наконец. — Смешной. Тёрн, а правда, почему их кормят? Раз они ничего не делают?

— Не знаю.

— Значит, зачем-то надо. Зря бы не кормили. — Это его, казалось, совершенно успокоило. — А «брат» — хорошее слово. Тёплое. Жалко, что ихнее.

Он прошёл ещё немного и вдруг спросил, не глядя на Тёрна, совсем другим голосом:

— Тёрн, а если у меня кончится? Вот как у тебя молочко. Одно кончится, а другое не начнётся. И я буду как он. Меня тогда тоже будут кормить?

— Будут, — сказал Тёрн, который понятия не имел.

— А говорить про меня вот так? Как про сквозняк?

Тёрн не нашёлся, что ответить. Клевер подождал, не дождался, встряхнулся и через три шага уже рассказывал, что строители, честное слово, самый весёлый народ в улье, хоть и висят молча.

Тёрн дошёл до кромки, размял воск и прилепил его туда, где недоставало. Стенка приняла комочек и стала чуть выше. Он смотрел на неё и думал не о стенке.

Он перебрал слова ещё раз, уже спокойно, по порядку, как проверял когда-то углы своей ячейки. Другого не было. Для того, чего он хотел, в улье имелось одно-единственное слово, и принадлежало оно тем, кого он хотел бы отменить первыми.

Глава 5. Первая охота

Воздух держит, и привыкнуть к этому невозможно. Всякий раз, отталкиваясь от коры, Ива на один вдох остаётся ни с чем: опоры уже нет, крылья ещё только ищут свой ритм, и всё внутри обрывается и летит вниз отдельно от неё. Потом ритм находится, частый и звонкий, воздух делается плотным и послушным, и оказывается, что падать вовсе не обязательно, а можно висеть на месте и разглядывать мир, который наконец перестаёт качаться.

В гнезде теперь пять ос. Три новые выходят из ячеек одна за другой, сонные и перепуганные светом, и каждую мать встречает тем же внимательным взглядом и тем же «ну, здравствуй», и каждой находит дело прежде, чем та успевает обсохнуть. Ячеек уже девять, и в шести просят есть. Мать охотится весь день, пока есть свет, и ни словом, ни вздохом не даёт понять, чего ей это стоит. Но Ива по привычке первых дней следит за ней неотступно и потому видит то, чего не видят младшие: после полёта материнские крылья дрожат, хотя греть ими некого, и мать, полагая, что на неё не смотрят, приникает к стене и недолго стоит неподвижно.

Поэтому Ива летит. Ей этого никто не поручает; в гнезде вообще мало что поручают, здесь просто видят, чего не хватает, и идут туда.

Солнце ложится ей на спину, и после сырого дупла это так хорошо, что она замедляется и просто висит над поляной, давая теплу войти в неё до самой глубины, до того места, откуда ночью берётся её собственное тепло. Пахнет нагретой травой и смолой, а откуда-то издалека, со стороны опушки, тянет сладким, и от этого запаха всё в ней поворачивается в ту сторону. Она не знает, что это. Она знает только, что ей хочется туда и что сейчас ей не туда.

Поляна полна движения, и первое, чему приходится учиться охотнице, это не ловкость, а разборчивость. Движется трава, движутся тени от травы, движется над травой всякая лёгкая мелочь, которую не ухватить, да и незачем. Вот это качается, потому что ветер. Вот это падает, потому что сухое. А вот это движется само, и на это «само» в Иве отзывается всё разом. Откуда у неё это умение, она не задумывается: умение приходит вместе с крыльями и не требует объяснений.

На широком листе лопуха, на самом солнце, сидит муха, сизая, с рыжими глазами, крупнее самой Ивы. Она греется и приводит себя в порядок, неторопливо, с удовольствием, и солнце лежит на её спине так же, как на спине Ивы.

Ива зависает над ней сбоку, так, чтобы не уронить на лист тень, и всё остальное перестаёт существовать. Нет ни поляны, ни ручья, ни сладкого запаха с опушки; есть только лист, и на листе это сизое и живое, и между ним и Ивой натягивается нить, тугая и прямая. Сердце у неё колотится так, что мешает висеть ровно. Это не страх, это гораздо лучше страха: всё в ней уже знает, что делать, и просит только одного, чтобы скорее.

Дальше всё происходит быстро и, против ожидания, просто. Короткая возня в траве, злое гудение у самой груди, потом гудение обрывается, и Ива с некоторым удивлением обнаруживает, что охота такая же работа, как бумага: никто не объясняет, куда вести кромку, её просто ведут, и полоса выходит ровной или не выходит. На этот раз выходит.

Голод узнаёт добычу немедленно и поднимается весь, разом, с той же силой, что в первый день. Это не нам с тобой, говорит себе Ива, это им. Она говорит это материнскими словами и материнским голосом и замечает, что послушаться собственного голоса труднее, чем чужого.

Обратная дорога совсем не та, что дорога сюда. Воздух, такой надёжный налегке, под ношей расступается, делается жидким и ленивым, и крылья, работая на пределе, несут её низко, над самыми метёлками, так что колоски задевают её на лету. Над ручьём она проваливается на полкорпуса и от испуга едва не выпускает добычу; но держит. За ручьём начинаются деревья, между стволами косыми столбами стоит свет, и наконец впереди чернеет проём дупла: дом стоит на своём месте, и внутри у неё отпускает что-то зажатое всю дорогу.

Мать в гнезде, тянет стенку десятой ячейки. При виде Ивы с ношей она останавливается, не доводя полосы до конца, и Ива видит то, чего за матерью не водится: работа брошена на середине. Она подходит и молча осматривает сначала охотницу, крылья, ноги, всё ли цело, и только потом добычу, и по тому, в каком порядке она это делает, Ива узнаёт о себе больше, чем из любых слов.

— С такой мухой и опытная охотница справляется не всякий раз, они сильны и вырываются, — говорит мать наконец. — Значит, в этом гнезде теперь две охотницы.

Ива стоит перед ней, не выпуская добычи, и с ней делается что-то новое. Оно тёплое, оно больше солнца на спине, и от него хочется сейчас же лететь обратно на поляну и принести ещё одну муху, и ещё, и сложить к материнским ногам весь лес.

Делит мать сама, потому что делить — отдельное умение и приходит оно позже охоты. Она делит на шесть, и впервые хватает всем. Ива смотрит на стёртые края её крыльев, на старую вмятину на боку, на то, с каким терпением эта большая сильная оса наклоняется над каждой ячейкой, отдавая ей всё своё внимание без остатка, а потом столько же отдаёт следующей, и не может отвести взгляд.

— А последнюю долю отдай сама, — говорит мать. — Добыча твоя, и то, что за неё причитается, тоже твоё: это и есть то сладкое.

Накормленный отвечает: он отдаёт той, кто кормит, каплю, прозрачную и круглую, и капля эта сладкая. Ива не знает, что бывает так. В её мире есть солёное, есть горькое от мокрой древесины, есть никакое, и вдруг это, от чего вся она делается светлой до самых кончиков крыльев, и усталость проходит без следа. Это то самое, чем тянет издалека, с опушки. И даётся оно не просто так, а за муху, за тяжёлую дорогу над ручьём, за то, что ноша донесена до дома. Так в гнезде всё и держится: охотница кормит детей, дети дают охотнице сладкое, и пока есть кого кормить, сладкого хватает.

— Стоит оно того? — спрашивает мать, уже от своей недостроенной стенки.

— Стоит, — говорит Ива.

Это первое слово, которое она произносит в этом доме по собственному почину, и мать принимает его молча, и по её молчанию видно, что ответ верный.

Ива уже в воздухе. Солнце стоит высоко, и где-то на поляне, на тёплом листе, сидит и греется следующая муха.

Глава 6. Приём

Воск кончился так же, как до него молочко: однажды утром чешуйки не вышли. Тёрн не удивился. Он начинал понимать здешний порядок: тело выдавало ему должность, как выдают инструмент, на срок, а по истечении срока отбирало и выдавало следующую, ни разу не поинтересовавшись, освоился ли он с предыдущей.

На этот раз обошлось без превращений. Его просто потянуло вниз.

Внизу он ещё не бывал. Улей, каким он его знал, был тёплой темнотой, у которой имелись верх, середина и края, а о том, что у темноты есть ещё и выход, он знал понаслышке, как знают о чужой должности. Выход назывался леток. Это была щель в самом низу, длинная и узкая, и через неё улей сообщался со всем остальным миром.

Из летка шёл свет.

Тёрн видел его впервые и сначала не понял, что видит. На полу у летка лежала белая полоса, ровная, с резкими краями, и казалось, что её можно поддеть ногой. От неё было больно глазам, которым до сих пор хватало темноты. Те, кто работал внизу, полосу обходили, как обходят пролитое, без страха, но и без охоты, и он стал обходить тоже.

Вместе со светом из летка шёл воздух, сырой, холодный, пахнувший сразу всем, и в этом «всём» не было ни воска, ни хлеба, ни того ровного сладковатого запаха, который наверху стоял в каждом углу. Здесь, у летка, он редел. Здесь улей кончался.

По обе стороны летка стояли стражи. Они стояли, приподнявшись и выставив вперёд ноги, и каждую, кто входил, наскоро ощупывали усиками: своя? Своя. Проходи. Занятие это требовало, по-видимому, большой суровости: лица у стражей были такие, будто улей держится исключительно на них, а все прочие только путаются под ногами. Входившие терпели досмотр со скукой тех, у кого каждый день спрашивают пропуск в дом, где они родились.

А входили сборщицы.

Они падали на порог прямо из света, тяжёлые, гружёные, с жёлтыми и рыжими комьями на ногах, и пахло от них ветром и ещё чем-то нездешним. Они были другие. Наверху, в детской, среди строителей, все были мягкие, пушистые, неторопливые. Эти были сухие, вытертые, быстрые, и глядели они сквозь тебя, как глядит тот, кто только что видел очень далеко и ещё не перевёл глаза.

— Приёмщик! — крикнули ему. — Не спи!

Приём был устроен просто. Сборщица, пройдя стражей, останавливалась, приёмщик подходил, и она сдавала ему свою ношу — светлую сладкую каплю. Сборщица, облегчённая, разворачивалась и уходила обратно в свет, а приёмщик нёс взятое наверх, в кладовую.

Нёс он его в себе. У Тёрна, как выяснилось, имелось внутри особое место, вроде кармана, о котором он до сих пор не подозревал. Карман находился в нём, но ему не принадлежал: туда клали общее. Оставить ношу себе было можно, никто бы не уследил, и как раз поэтому, кажется, никто этого не делал.

Наверху ношу ещё полагалось довести. Сырая капля была жидкая, как вода, и в таком виде никуда не годилась; её следовало долго и терпеливо держать на тёплом воздухе, пока не загустеет. Работа была из тех, при которых голова свободна. Вдоль кладовой рядами сидели приёмщики, и каждый, уставясь в темноту, возился со своей каплей с видом глубочайшей задумчивости. Думал ли кто-нибудь из них о чём-нибудь, Тёрн бы не поручился.

Сам он думал о каплях.

Они были разные. Это открылось ему на первой же: он ждал сладкого, и сладкое было, но под сладким было что-то ещё. Одна капля отдавала тёплой пылью. Другая была густая и жёлтая на вкус, если вкус бывает жёлтым, и от неё делалось весело. Тёрн стоял на пороге, дальше которого не сделал ни шагу, и узнавал мир по капле, с чужих слов.

Было у приёма и второе дно, и разглядел он его не сразу. Сборщица, которую продержали на пороге, летела обратно уже не так резво, а то и вовсе оставалась посидеть. Сборщица, к которой приёмщики кинулись сразу втроём, разворачивалась и неслась в свет как подстёгнутая. Никто не говорил им: несите больше, несите меньше. Нужна ли её ноша, улей сообщал сборщице тем, долго ли она простояла в очереди.

Это было остроумно и, пожалуй, даже справедливо. Тёрн только отметил про себя, что опять не нашёл того, кто распоряжается.

Клевер принимал рядом и, разумеется, разговаривал. Он был единственный приёмщик, который с каждой сборщицей здоровался, и единственный, который спрашивал, как долетела. Сборщицы, отвыкшие от того, что у них бывает что-нибудь, кроме ноши, смотрели на него ошалело. Некоторые отвечали. За полдня Клевер узнал, что снаружи ветрено, что у ручья зацвело, что какая-то птица опять сидит на сухом дереве, и четыре имени, которые никому, кроме него, не были нужны.

Ту сборщицу Тёрн сначала услышал. Все садились на порог с коротким сухим стуком; эта села так, как падает ноша. Крылья у неё гудели ниже, чем у прочих, и с каким-то дребезгом.

Потом она вошла, и он увидел почему.

Крыльев у неё, собственно, не было. То есть они были, все четыре, на своих местах, но края их были изорваны в лохмотья, будто их долго и терпеливо обкусывали, и сквозь них просвечивал порог. Сама она была тёмная, почти чёрная, без единой ворсинки на спине, вытертая до блеска. Рядом с ней остальные сборщицы, которых он до неё считал старыми, оказались молодёжью.

Стражи её не ощупали. Один начал было привычное движение и не довёл. Она прошла между ними, кажется, не заметив.

Клевер, здоровавшийся со всеми, с ней не поздоровался. Он смотрел на её крылья.

Тёрн знал, что значат такие крылья. Это знали все, хотя никто никого не учил: крылья не отрастают. Сколько их выдано, столько и есть, и каждый вылет берёт от края своё. По крыльям видно, сколько тебе осталось, так же ясно, как по ячейке видно, сколько в ней мёда. Пчёл с такими крыльями он ещё не встречал. По всем расчётам, на таких не летают. По всем расчётам, с такими давно лежат под летком, куда уборщики сносят тех, кто отработал.

Она остановилась перед ним, потому что он был ближайший свободный, и сдала ношу.

Ноша у неё была большая, больше, чем у молодых. Капля горчила, была прохладная и пахла водой.

— Что это? — спросил он.

На приёме не разговаривали. Клевер не в счёт: Клевер разговаривал, как другие дышат. Вопрос же, заданный всерьёз, прозвучал у летка так, словно на пол уронили что-то твёрдое.

— Ноша, приёмщик.

— Нет. Откуда она? Она горчит.

Старая сборщица не ушла. Ей полагалось развернуться и уйти в свет; её ждали её лохмотья и сколько-то вылетов, которые в них ещё оставались, и тратить время на разговор было нерасчётливо. Она стояла и смотрела на него. Глаза у неё были такие же вытертые, как спина. Она смотрела не сквозь, как другие сборщицы, а прямо в него, долго, дольше, чем нужно, чтобы передать каплю, и с таким выражением, будто встретила у летка кого-то, кого не ждала здесь встретить. Или, может быть, ждала, но не так скоро.

— Ива, — сказала она наконец. — У ручья. Она первая цветёт.

— А что такое ручей?

Что-то прошло по её лицу, и он не понял что. Это могла быть усмешка. У неё это могло быть чем угодно.

— Вылетишь, увидишь, — сказала она. — Правда, к тому времени спрашивать обычно уже разучиваются.

И ушла в свет, тяжело, с дребезгом, на крыльях, на которых по всем расчётам не летают.

— Ты её знаешь? — жадно зашептал Клевер. — Я у неё вчера спросил, как звать, а она мне: «Отстань, приёмщик». И всё! А с тобой вон сколько говорила.

Тёрн отнёс иву наверх и довёл её до густоты. Всё время, пока он сидел у ячейки, во рту у него стояла горечь, и он не мог бы сказать, неприятна она ему или нет.

Танец случился под вечер, когда полоса на полу у летка пожелтела и вытянулась.

Вошла сборщица, молодая, лёгкая, с целыми крыльями. Ношу у неё взяли сразу. Но она не повернула к выходу. Она прошла наверх, на сот, на самое бойкое место у кладовых, остановилась, и по тому, как она остановилась, те, кто был рядом, остановились тоже.

— Это Мелисса, — шепнул Клевер, который, конечно, уже знал. — Сейчас будет танцевать. Она нашла.

Тёрн хотел спросить, что нашла и при чём тут танец, и не успел, потому что она начала.

Словами в улье говорили о мелком: посторонись, подай, не спи. О важном в улье танцевали. Этому никто не учил, как никто не учил грызть крышку, и Тёрн, видевший танец впервые, с изумлением обнаружил, что понимает его целиком, как понимают родную речь, не зная в ней ни одного правила. Мелисса шла по соту, поворачивала, возвращалась и шла снова, и каждый её проход говорил яснее слов: туда, наискось от солнца; далеко, дальше ручья, устанешь, но долетишь; жёлтое, сплошь, до самого края; много, хватит всем; сейчас. Вокруг неё уже стояли тесным кругом, и те, кто стоял ближе, начинали повторять её шаги, сперва неуверенно, потом в лад, и танец от этого делался громче, как делается громче песня, когда её подхватывают. А потом она остановилась и дала ближним попробовать то, что принесла, по крошечной капле, и до Тёрна, через третьи руки, дошёл вкус: густой, жёлтый, весёлый.

И он увидел поле.

Он не знал, что такое поле. У него не было для него ни одной подробности, кроме вкуса и чужого танца. И из этого, почти из ничего, перед ним встало жёлтое, огромное, тёплое, налитое до краёв, качающееся под ветром. Оно ждало. Оно было вон там, наискось от солнца, и лететь надо было сейчас.

В этом и был её дар. Танцевали многие. Другие сборщицы, найдя, тоже танцевали своё, честно, старательно, как докладывают: там-то, столько-то, можно брать. За ними шли две-три. Мелисса не докладывала. Мелисса хотела туда сама, всем телом, так, что не хотеть вместе с ней было невозможно, и в каждом её шаге было обещание, что там лучше, чем здесь, и что ты ещё успеешь. За ней снимались десятками.

Он стоял, нелетавший, со вкусом чужой капли, и верил каждому её движению. Танцем говорили, где брать. Ничего другого танцем пока не говорили.

Сборщицы одна за другой отрывались от круга и шли вниз, к летку, быстро, не оглядываясь. Мелисса прошла свой танец ещё раз, уже почти в пустоте, и ушла следом, лёгкая, довольная, ни на кого не взглянув.

Клевер стоял с открытым ртом.

— Ты видел? — сказал он. — Нет, ты видел? Я прямо там был. Там жёлтое! Тёрн, я тоже так хочу. Не танцевать, куда мне. Туда хочу. Чтобы она станцевала, а я полетел.

Это было сказано так просто и так счастливо, что Тёрн не ответил. Ему хотелось другого, и он постеснялся сказать чего.

Когда полоса у летка погасла и приём кончился, он ушёл в дальний угол сота, туда, где строили и где сейчас никого не было. Огляделся.

И попробовал.

Вышло плохо. Шаги, которые у Мелиссы складывались сами, у него путались; на повороте он забыл, в какую сторону сворачивал в прошлый раз, свернул в ту же и оказался не там, откуда начал. Он попробовал снова. Хуже всего было другое: у него не было ни поля, ни капли.

Ему нечего было сообщить улью, кроме того, что он хотел бы что-нибудь сообщить, а для этого, как видно, танца не имелось.

— Приёмщик, — участливо окликнули его из темноты. Какая-то кормилица шла мимо по своим делам. — Тебе нехорошо? Ты чего топчешься?

— Мне хорошо, — сказал Тёрн.

— Ну смотри. А то сходи вниз, там воздух.

И пошла дальше.

Первое, что он попытался сказать улью не словами, улей принял за недомогание. Тёрн подождал, пока стихнут шаги, и попробовал ещё раз. Вышло не лучше.

Глава 7. Сход

К концу весны в улье стало тесно.

Тёрн заметил это по приёму. Ношу несли так густо, что сборщицы стояли на пороге в три ряда, кладовые были залиты до краёв, и приёмщики бродили по сотам с полным грузом, заглядывая в ячейки в надежде найти незаполненную. Из детской каждый день выходили сотни новых уборщиков, мокрых, взъерошенных и никому не нужных, потому что убирать было нечего: всё было занято. В проходах нельзя было разойтись: кто-нибудь непременно пятился. В проходах ворчали. Ворчание было новое, Тёрн такого ещё не слышал: улей, всегда довольный собой, был чем-то недоволен и сам не знал чем.

Тогда объявили Сход.

Кто объявил, установить не удалось. Тёрн спрашивал. Ему отвечали: «Сказали». Кто сказал? «Да все говорят». Слово прошло по улью, как проходит сквозняк, без начала и без хозяина, и к полудню не осталось угла, где бы не знали, что сегодня Сход, что быть всем и что улей будет решать.

— Что решать? — спросил Тёрн.

Спросил он у соседа по приёму, основательного, который по любому поводу имел вид посвящённого в самую суть.

— Что всегда. Куда лететь. — Сосед посмотрел на него с удовольствием: он любил объяснять. — Тесно же. А когда тесно, улей делится, так заведено. Королева берёт половину и уходит на новое место, а здесь выводят новую, из особых. Для того их, особых, и держат. А вот куда уходить, это решает Сход. Разведчицы слетают, присмотрят, вернутся и станцуют, каждая своё. Какой танец улью больше по душе, туда и летим. Сами решаем! — Он поднял усик. — Не Королева, заметь, не старшие. Улей. Танцевать вправе каждый, хоть ты, хоть я, хоть вон тот, вчерашний. Такого порядка, приёмщик, нигде больше нет.

— А где ещё есть какой-нибудь порядок? — спросил Тёрн, которого заинтересовало слово «нигде».

Сосед подумал.

— Нигде, — сказал он твёрдо. — Я же и говорю.

— А если кто не придёт?

— Куда не придёт?

— На Сход.

— Как же он не придёт, — сказал сосед с искренним недоумением, — когда он в улье? Сход-то где? В улье. Вот он и пришёл.

Сход начался сам собой, как начиналось тут всё. Просто работа встала, чего Тёрн не видел ещё ни разу: кормилицы вышли из детской, строители слезли со своих цепей, даже стражи пришли, оставив у летка одного, и весь улей, тысячи и тысячи, стянулся на средние соты и встал, плечом к плечу, так плотно, что сделалось жарко. Посередине оставили пустое место. На пустое место вышла первая разведчица.

Она станцевала дупло.

Тёрн, не видевший в жизни ничего, кроме полосы света на полу, увидел его так же ясно, как когда-то поле: большое старое дерево на опушке, вход высоко над землёй, внутри темно, просторно, пахнет трухой. Танцевала она горячо; видно было, что дупло ей самой по сердцу. К ней пристало десятка три, повторяя её шаги, и Клевер, стоявший рядом с Тёрном, весь подался вперёд.

— Дупло! — зашептал он. — Тёрн, ты видел? Высоко, просторно! Летим в дупло!

Вторая станцевала расщелину в камнях над оврагом: вход узкий, в самый раз для стражи, никакой зверь не сунется, зимой не продувает, правда, тесновато и до лугов далеко. К ней пристало десятка два, народ степенный, ценящий надёжность.

— Расщелина, — сказал Клевер упавшим голосом. — Она ведь надёжнее, а? Тёрн? Зимой-то не продувает.

Третья станцевала дальний лес. Она одна из трёх летала по-настоящему далеко и танцевала долго, и в танце её было то, чего Тёрн ещё не встречал: простор. Никаких стен. Липовая роща, которой нет конца, и на полдня лёту ни одной чужой пчелы, всё наше. К ней пристали самые молодые, и танцевали они лихо.

Клевер молчал. Он страдал. Ему нравились все три, причём каждая следующая больше предыдущей, и он решительно не понимал, как из трёх прекрасных вещей можно выбрать одну и, главное, почему это должен делать он.

Три круга ходили по соту, каждый со своим танцем, и ни один не рос. Остальной улей, тысячи, стоял и смотрел. Тёрн ждал, что сейчас что-то начнётся: круги примутся спорить, переманивать, один перетянет. Так, по словам соседа, оно и делалось.

Началось другое.

Четвёртый танец пошёл не с пустого места посередине, а откуда-то из гущи, из самой середины улья, где запах стоял плотнее всего, и кто его начал, потом никто не мог сказать. Он был совсем простой. В нём не было ни опушки, ни оврага, ни рощи, в нём вообще не надо было никуда лететь, и потому станцевать его мог всякий, даже тот, кто ни разу не высовывался за леток. Он говорил: здесь. Здесь тепло. Здесь мёд, вон его сколько, до краёв. Здесь дети. Здесь Королева. Здесь всё наше, нами построенное, из нас сделанное. Зачем?

Это «зачем» и было в нём главной фигурой.

Он пошёл по улью, как идёт тепло. Его подхватывали не десятками, а рядами, потому что он не требовал ни смелости, ни расчёта, а только согласия с тем, что и так есть. Вставшему в круг давали каплю, и он, отведав, передавал её дальше, и капля шла от одного к другому, так что скоро у всех, кто танцевал, был во рту один вкус и, надо думать, один запах. Круг рос. Круги разведчиц таяли: из них уходили по одному, без ссоры, даже с облегчением, как уходят с холода в дом. Степенные из расщелины перешли первыми. За ними растаял круг дупла. Дольше всех держались молодые, танцевавшие дальний лес, но дрогнули и они, и на опустевшем месте осталась одна разведчица. Она сделала ещё два прохода, остановилась, постояла, и Тёрн видел, как ей дали каплю и как она её взяла.

— Остаёмся! — сказал Клевер с огромным облегчением. Он уже танцевал, и лицо у него было счастливое: выбирать не пришлось. — Тёрн, остаёмся! Ну правда же, зачем? Тут же всё есть! Давай, вставай!

Тёрн не вставал. Он хотел сначала понять. Но круг не спрашивал, понял ли он; круг рос, дорос до него и прошёл дальше, и Тёрн, не сделав ни шагу, оказался внутри. Справа танцевал Клевер, слева сосед по приёму, сзади напирали, и то общее движение, в котором ходили все, качало и его, хотел он того или нет. Ему протянули каплю.

Он взял. Не взять было бы так же странно, как не дышать. Капля была сладкая.

— Улей решил, — сказали рядом.

— Улей решил, — отозвались дальше, и ещё дальше, и пошло по сотам, от края до края, с тем покойным удовлетворением, с каким говорили «Королева прошла». Сход кончился. Он занял немногим больше времени, чем уходит на приём одной хорошей ноши. Работа тронулась так же разом, как встала, и вскоре уже ничто не напоминало о том, что улей только что распорядился своей судьбой.

— Вот, — сказал сосед по приёму, довольный, как после обеда. — Видал? Сами. Никто не неволил.

— А в прошлый раз что решили? — спросил Тёрн.

— В какой прошлый?

— На прошлом Сходе. Тоже ведь выбирали, куда лететь.

— Остаться решили, — сказал сосед. — Раз мы тут.

— А до того?

Сосед посмотрел на него с тем усталым недоумением, которое Тёрн уже научился узнавать. До того соседа не было на свете, как не было никого из стоявших вокруг, и что решал улей, когда их не было, занимало их не больше, чем прошлогодний дождь.

— Я не понимаю, — сказал Тёрн. — Зачем выбирать, куда лететь, если мы никуда не летим?

— Как зачем? — удивился сосед. — Чтобы решить.

— Раньше летали.

Это сказали у Тёрна за спиной, негромко и ни к кому не обращаясь. Он обернулся. Мимо, к летку, шла старая сборщица с изорванными крыльями, та самая, с ивой. Она шла своим тяжёлым шагом, глядя перед собой, и, кажется, сама не заметила, что сказала это вслух.

— Когда? — крикнул он. — Когда летали? Почему перестали?

Она не обернулась. Может быть, не расслышала. Ей уступили проход, и внизу, у летка, на миг потемнело и посветлело снова.

Следствие явилось к вечеру, и Тёрн не сразу понял, что это следствие.

В детской, в дальнем конце, у самой кромки, где висели особые ячейки, было людно. Он пошёл туда по старой памяти: это был его ряд, от третьей балки до кромки. Большие ячейки, которые при нём заливали молочком по края, стояли вскрытые. Вскрыты они были не снизу, откуда выходят, а сбоку. Возле них работали кормилицы и строители, много, споро, без суеты, так, как работают на разборке старого сота. Внутри уже никого не было.

Он стоял и смотрел и довольно долго не позволял себе понять, куда девались те, кто был внутри.

— Так остаёмся же, — объяснила кормилица, которую он спросил. Она не отрывалась от дела, и голос у неё был самый обыкновенный, озабоченный, вечерний. — Раз не делимся, вторая Королева ни к чему. А их десяток. Куда их? Так оно добрее. Так заведено.

— Кто велел?

— Никто не велел. — Она даже остановилась, до того странен был вопрос. — Улей решил. Ты же сам на Сходе стоял.

Он стоял. Он хотел сказать, что решал не это, что он вообще ничего не решал, что его спрашивали про дупло и расщелину, а о тех, кто лежит в больших ячейках, никто и слова не станцевал. Но он вспомнил вкус капли и промолчал. Капля была сладкая, и он её взял.

Это были те самые, что плавали в молочке. Те, перед которыми должны были расступаться. Их выкормили лучше всех в улье, про запас, на случай, и когда случай отменили, их отменили вместе с ним, и отменили те же кормилицы, что ещё утром носили им молочко.

Клевера он нашёл у кладовой. Клевер был тих, что случалось с ним редко.

— Я видел, — сказал он, не дожидаясь вопроса. — Я мимо шёл. — Он помолчал. — Жалко. Они тёплые были, помнишь? Но, Тёрн, ведь правда, куда их? Улей же решил. Мы же сами решили. Значит, надо.

— Мы решали, куда лететь.

— Ну да. И решили остаться. А раз остаться, то… — Клевер поискал, чем кончить, не нашёл и посмотрел на Тёрна почти умоляюще. — Оно ведь одно из другого, да? Не может же быть, чтобы улей решил неправильно. Нас же вон сколько.

Тёрн не ответил. Он смотрел, как от кромки идут строители. Воск от больших ячеек, толстый, щедрый, вылепленный когда-то без счёта, они несли бережно, комок к комку, ничего не роняя. В дальнем конце улья уже тянули новый сот, под мёд, которого этим летом ждали много.

— Хороший воск, — сказал один, проходя. — Пойдёт в дело.

Глава 8. Большие

Дом, в котором просыпается Ива, велик, тёмен и тесно населён. Он одет в бумагу, слой на слой, серое на буром, того же цвета, что труха вокруг, и висит под своим выступом большой серой каплей, так что от проёма видна одна темнота, и осы вылетают из неё по одной, будто их рождает само дерево. Соты идут в нём в два яруса, и в нижнем ячеек столько, что у Ивы нет для этого числа. Свет сюда не заходит. Он стоит далеко, у входа, бледным кругом, и идти к нему приходится через весь дом, мимо спящих, мимо строящих, мимо тех, кто не поднимает головы от работы. Спят здесь вповалку, кто где, и запах у всех один, сухой, бумажный, родной, так что, просыпаясь, не сразу понимаешь, где кончаешься ты сама и где начинаются остальные.

Новые осы большие, и к этому Ива никак не может привыкнуть. Каждая следующая выходит из ячейки крупнее предыдущей, а Ива остаётся прежней. Они широкие, сильные, длиннокрылые, сот под ними покачивается, а под Ивой нет, и красота у них спокойная, выкормленная досыта с первого дня. Ива смотрит на эту красоту с гордостью, потому что знает, из чего она сделана: из её мух, из её гусениц, из тяжёлой дороги над ручьём, из всего, что она приносит и отдаёт. Знает она и то, отчего маленькая она сама. Ей сказано об этом с самого начала: кто выходит в холода, тот выходит маленьким и проворным. Сказано это как похвала, и Ива носит эти слова как похвалу, хотя среди больших делать это день ото дня труднее.

Из первых, маленьких, в доме она одна. Тех, что выходят вслед за ней из старого сота, здесь нет: одна не возвращается с поляны в ветреный день, другая после дождя, и про остальных известно не больше. В гнезде о таком не говорят. Не вернувшуюся не ждут и не называют, её работу молча разбирают между собой, и к вечеру в работе нет прорехи. Ива берёт свою долю, как все, а их самих не отпускает: в ней они есть все, мокрые, сонные, перепуганные светом, и всех до одной мать встречает своим «ну, здравствуй».

У каждой своё дерево: Ольха, Осина, Берёза, две Сосны, которых все путают. Имена даёт уже не мать, а та, кто стоит рядом, когда новенькая тянет свою первую полосу, и чаще всего это Ива: новенькие, ещё не обсохшие, держатся поближе к ней, потому что она маленькая и с ней не страшно. Она стоит над каждой, пока та ведёт кромку, и говорит примерно одно и то же: что полоса кривая, что первая ни у кого не выходит лучше и что дерево зато хорошее. Говорит она это хрипловатым, не своим голосом и не задумывается, откуда он у неё.

Ель выходит из ячейки в ветреный день и обсыхает так быстро, будто ей некогда. Первый комок, который ей достаётся, остро пахнет смолой, и полоса из него ложится ровная, с первого раза, от начала до конца. Ива стоит рядом с заготовленным утешением, и утешать оказывается некого.

— Значит, Ель, — говорит она вместо этого. — По дереву. Твоё пахнет смолой и не гнётся.

— Годится, — решает та, примеряя слово, и видно, что имя, в котором есть «не гнётся», ей по душе. — А тебя по какому дереву? И ты что же, тоже из сегодняшних?

Насмешки в вопросе нет. Ель видит перед собой осу вдвое меньше себя и делает из этого единственный вывод, какой можно сделать, доверяя одним глазам. Ива называет своё дерево, а на второй вопрос только качает головой, и Ель не переспрашивает: у ос не принято расспрашивать о том, чего не видно. Её уже тянет к выходу, к бледному кругу.

С первой же охоты она приносит добычу, какой Иве не поднять, и несёт её легко, высоко, не задевая травы. Гнездо сбегается смотреть. Никто не проверяет, целы ли у охотницы крылья, никто не бросает ради неё работу на середине; её просто обступают и гудят, и Ель стоит посреди этого гудения, большая и спокойная, и принимает его как должное. Ива гудит вместе со всеми, и радость её настоящая. А то маленькое и острое, что шевелится рядом с радостью, она предпочитает не разглядывать.

Мать живёт наверху, под самым выступом, на котором висит дом. К ней надо подниматься через оба яруса, туда, где тише и теплее всего и где висит самый старый сот, маленький, тёмный от множества ног. Он выше всех остальных, и весь дом вырастает из него. Мать занята единственным делом, которого, кроме неё, в гнезде не делает никто: она идёт от ячейки к ячейке и в каждой оставляет по яйцу, и дело это не терпит перерывов, потому что гнездо растёт быстрее, чем она успевает ходить. Крылья сложены у неё на спине плотно и аккуратно, и Ива, поднимаясь сюда, всякий раз смотрит на них первым делом и всякий раз ни о чём не спрашивает.

Она несёт матери сладкое с поляны, с цветка: не ту каплю, которой платят за муху, а другую, которую берут сами и которой в гнезде не видит никто, кроме летающих.

— Это ты, Ива, — говорит мать, не оборачиваясь: шаги Ивы, лёгкие и частые, в гнезде ни с чьими не спутать. — Подойди ближе, дай на тебя посмотреть. Ты у меня единственная, кого приходится высматривать.

Она принимает каплю и некоторое время молчит, разбирая вкус.

— Поляна за ручьём, — говорит она наконец. — Одуванчик в цвету, и день, судя по густоте, тёплый. Мне теперь приносят лес по капле, и, знаешь, отсюда его видно даже лучше, чем с крыла: с крыла видишь одну поляну, а здесь они сходятся все разом. Гнездо растёт правильно, Ива, пока каждая занята своим и не заглядывается на чужое дело.

Она говорит это без грусти, потому что для неё это порядок вещей, и видно, что ничего другого у неё и нет. Есть этот сот, эти ячейки одна за другой, это дело, не терпящее перерывов. Мать вся здесь, целиком, и спящие внизу целиком здесь, и Ель вся в своей охоте.

А в Иве есть ещё одно гнездо. Оно не вокруг, оно внутри, и оно ничуть не менее настоящее, чем это. В нём пять ячеек на одной ножке, и его качает ветром. В нём холод выходит из углов, и мать дрожит над сотом всю ночь напролёт, и бок у неё горячий, и она чуть сдвигается, уступая Иве место у этого бока. В нём мать протягивает ей кусок добычи и говорит: погоди, не ешь. В нём мать уходит в свет, и свет забирает её, и неизвестно, отдаёт ли. Там мать летает, летает не переставая, весь день, пока есть свет, и возвращается с добычей, и, полагая, что на неё не смотрят, приникает к стене и недолго стоит неподвижно.

— Есть гнездо, в котором всего пять ячеек, — говорит Ива, и говорит осторожно, потому что вслух это звучит в первый раз. — В нём ты охотишься одна на всех и одна строишь, а ночью греешь четверых, и я рядом, у твоего бока, и ты говоришь, что греть вдвоём — это роскошь.

Мать замедляет шаг. Она поворачивает голову и смотрит на Иву долго и внимательно, и видно, как что-то в ней ищет дорогу к этим словам и не находит.

— Пять ячеек, — повторяет она, будто пробует на вес. — Гнездо не оглядывается, Ива, в этом его сила. В нём есть то, что есть: два яруса, полсотни ртов и ты, лучшая моя охотница. Если в тебе помещается ещё и то, чего здесь нет, носи, раз не тяжело. Только не ищи его у меня: я занята тем, что передо мной, и тебе советую то же.

Но, уже отворачиваясь к следующей ячейке, мать чуть сдвигается, и рядом с ней освобождается место, небольшое, ровно на одну маленькую осу. Сама она этого не замечает. Ива замечает: в том гнезде, которое у неё внутри, мать сдвигается точно так же, и место это её. Слов у матери для этого нет, и они ей не нужны.

У самой ножки, в основании старого сота, под наплывами новой бумаги, есть полоса, толстая с одного конца, рваная с другого и бугристая по всей длине. Ива находит её на ощупь. Полоса держит; на ней висит весь дом, оба яруса и все большие, и ни одна из них об этом не знает. Она всё ещё горчит, совсем слабо, и пахнет водой.

На обратном пути, где-то между верхним ярусом и нижним, её нагоняет Ель, которой тоже не терпится к выходу, и некоторое время они идут рядом, большая и маленькая, так что со стороны это, должно быть, выглядит, будто старшая ведёт младшую, и только неясно, кто из них старшая.

— Хорошо устроена наша мать, — замечает Ель на ходу, без зависти и без зла, просто потому, что всегда говорит то, что видит. — В тепле, в тишине, и всё ей несут наверх. Мне такое не по характеру, мне подавай поляну, но устроено хорошо.

— Она охотница, — говорит Ива. — Лучшая в этом лесу. Она одна кормит четверых и одна строит, а ночью греет, и края крыльев у неё стёрты от этого до бахромы.

Ель сбивается с шага.

— Ты о ком? Мать не вылетает, ты только что от неё и сама это видишь.

— Я вижу и другое.

— Где? — спрашивает Ель.

И тут Ива останавливается, потому что ответа у неё нет. Не здесь: здесь два яруса и полсотни ос. Не сейчас: сейчас мать наверху, идёт от ячейки к ячейке. А для того места, где мать летает, у неё есть только слово «есть», то самое, каким говорят про сот под ногами. Она ищет другое. Она перебирает всё, что у неё имеется, и всё, что у неё имеется, говорит про то, что вокруг. Про то, что внутри, у ос не говорят; чего не видно, того нет.

— Во мне, — говорит она.

Ель смотрит на неё сверху вниз, и в её взгляде одна забота, забота большой и сильной о маленькой.

— Послушай меня, — говорит она. — Ты летаешь больше нас всех, а ешь меньше всех, это и без расспросов видно. От голода и от усталости чего только не покажется. Сегодняшнее сладкое не неси наверх, а съешь сама: сытой голове такое не мерещится.

И идёт дальше, довольная своим советом.

Выход из дома внизу, под нижним ярусом, и к проёму оттуда поднимаются по стене дупла. У проёма тесно, вылетают по одной. Ива дожидается своей очереди, выбирается на край, в бледный круг, и свет бьёт по глазам, и на один вдох всё внутри обрывается.

Сзади нарастает гул, низкий и сильный, с запахом смолы. Что-то большое проходит над ней, почти сквозь неё, край длинного крыла чиркает её по голове, и Ель уже в свету, уже далеко, прямая, быстрая, и не оглядывается. Она не толкает Иву: чтобы толкнуть, надо заметить.

Глава 9. Ящики

— Летать будем! — сообщал Клевер каждому, кто проходил мимо, включая стражей. — Сегодня! Мы с ним! Первый раз!

Стражи, не поворачивая голов, дали понять, что потрясены.

Тёрн стоял рядом, у самой белой полосы, которую столько дней обходил стороной. Сегодня она была дорогой. Выходили в полдень, гурьбой, все, кому вышел срок. Порядок был старый и простой: выйти, подняться, повисеть перед летком, хорошенько посмотреть на то место, откуда вышел, и вернуться. Далеко не залетать. Это называлось облёт, и, как всё в улье, этому никто не учил: считалось, что крылья знают сами.

Тёрн ступил на порог, и света не стало.

Вернее, что не стало именно света, он понял позже; тогда ему показалось, что не стало всего остального. То, что он знал под именем света, белая полоса, ровная, с резкими краями, было, как выяснилось, дырой в заборе, через которую он подглядывал. Теперь забор убрали. Свет был всюду, сверху, снизу, с боков, он не лежал, а стоял, не имел ни краёв, ни меры, и в нём не было ни одной стены, за которую можно было бы подержаться взглядом. Улей, в котором всякой вещи было отведено место, размер и число, выпустил его туда, где ничему не было отведено ничего.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.